

Речь в День поминовения павших 4 мая 2020 года

Арнон Грюнберг

Нет!

Я часто спрашиваю себя, зачем надо поминать павших, в чем смысл таких ритуалов, как сегодняшний. Поминаем ли мы погибших в войне потому, что так велит традиция, или речь идет о чем-то еще?

В прошлом году, в такой же весенний день в моей лекции «Творчество Марги Минко и война» - не знаю, война ли меня преследует или я преследую войну – я говорил о том, что поминовение павших должно быть чем-то большим, чем всего лишь данью традиции, что оно должно включать в себя стремление к знанию, и что ритуал, проводимый по трафарету, – враг осмысленного, значимого ритуала. Я говорил о том, что в наши дни все чаще слышится еще одна трафаретная формула, будто мы все уже достаточно хорошо знаем рассказ о войне и о евреях. В основании этой неоправданно высокомерной формулы лежит уверенность, что наши знания о войне являются полными и исчерпывающими, так что мы можем просто взять и перелистнуть эту страницу сравнительно недавнего прошлого.

Сказать, что прошлое известно нам на сто процентов, равнозначно отказу его изучать. Но человек, не знающий своего прошлого, приговорен не столько к повторению того, что однажды уже было, сколько к незнанию того, кто он сам есть. А ведь именно гложущее ощущение, что ты не знаешь, кто ты, и порождает стремление обладать непоколебимой собственной идентичностью. Нередко бывает, что эта непоколебимая собственная идентичность и нежелание относиться к ней с долей юмора, ведет к восприятию других людей как полностью чужих, то есть врагов. После моей лекции о Марге Минко ко мне подошел один психотерапевт и рассказал, что ритуалы и трафареты в поминовении погибших нужны нам для того, чтобы не лишиться душевного здоровья, и что нам следует дистанцироваться от прошлого, чтобы не пойти ко дну. Да, конечно, но если при поминовении событий XX века мы полностью сохраняем душевное здоровье, то, боюсь, это значит, что мы ничего не вспомнили и ничего не поняли.

Сохранение душевного здоровья может оказаться симптомом отказа смотреть правде в лицо, отрицания. Если мы отрицаем, что болезни прошлого века - промышленный тоталитаризм, антисемитизм, переросший в геноцид, биологический расизм - все еще прячутся где-то в глубинах нашей культуры, это значит, что мы не знаем, кто мы. Именно в этом случае мы оказываемся восприимчивы к речам искусителей, которые учат нас, кто мы такие и кого должны бояться.

Поминать погибших в войне – это способ заявить, кем ты не хочешь быть, но кем невольно все же можешь стать. Без осознания этой опасности нет поминовения, без небеспричинного страха, что мы – будущие преступники или их пособники, нет полноценного поминовения.

Поминовение основано на осознании, что прошлое никогда не кончается, что чрево, породившее Третий Рейх, все еще остается детородным.

Цензура и изгнание – не ответ на эту детородность: то, что в нашей стране власти не объясняют нам, как думать можно, а как нельзя, - большое достижение. Но это вовсе не значит, что нам дозволено переступать через все границы. После 1945 года в нашей культуре сформировался целый ряд глубоко обоснованных табу; разрушение табу не всегда ведет к освобождению, иногда разрушение табу – это регресс.

Поминование погибших во Второй мировой войне – это всегда и предупреждение.

История тех, кто выжил, кто вернулся из концлагерей, евреев, цыган, политических противников нацизма, в том числе коммунистов и социал-демократов, - это рассказ об исключениях. Большинство жертв покинуло лагерь черед трубу крематория. Моя мать стала исключением, а ее родители, мои бабушка с дедушкой, - нет.

Поминать погибших – значит говорить от имени мертвых, а говорить о мертвых можно только устами очевидцев. Я хочу дать слово человеку, который находился вплотную к мертвым, Филипу Мюллеру, словацкому еврею, члену «зондеркоманды» в Освенциме.

«Зондеркоманда» состояла в основном из евреев-заключенных, чьей обязанностью было доставать трупы из газовых камер, срезать с трупов волосы, вырывать золотые зубы и потом сжигать трупы. Большинство членов «зондеркоманды» спустя несколько месяцев сами попадали в газовую камеру. Но осенью 1944 года последняя «зондеркоманда» лагеря Освенцим подняла восстание, после которого все ее члены были уничтожены. В своих воспоминаниях Мюллер пишет о нескольких еврейских семьях, скрывавшихся в ужасающих условиях в бункерах близ городка Сосновец в Польше. Эсэсовцы обнаружили эти семьи, услышав детский плач.

Всех отправили в Освенцим. Женщинам и детям приказывают раздеться: обычная процедура. Однако их решают не отправлять в газовую камеру, а расстрелять, что является исключением. Мюллер не объясняет, почему. Возможно, в тот момент было недостаточно народу, чтобы заполнить газовую камеру, а Циклон Б следовало экономить. Машина смерти у нацистов, была, кроме всего прочего, явлением экономическим, этакой гигантской грабительской компанией, где умерщвление и уничтожение трупов должно было производиться с минимальными затратами.

Голые женщины с детьми стоят у расстрельной стены. Мюллер описывает одну из них, державшую ребенка на руках: «Фосс, палач, нервно ходит со своей малокалиберной винтовкой вокруг них, примеряясь, с какой стороны ему удобнее выстрелить в ребенка. Заметив это, охваченная отчаянием мать буквально обвивается вокруг своего дитя, чтобы в него было не попасть. Изо всех сил пытается полностью закрыть его тельце руками.

Вдруг в тишине раздаются несколько выстрелов. Палач выстрелил в ребенка сбоку и попал в грудь. Почувствовав, как его кровь струится по ее телу, мать теряет самообладание и швыряет маленькое тело в лицо убийце, уже направившему на нее дуло своей винтовки. Обершарфюрер Фосс ошалел от неожиданности и точно окаменел. Когда еще теплая детская кровь брызнула ему в лицо, он уронил винтовку и вытер лицо рукой».

Важно, что нам теперь известна фамилия обершарфюрера, но как звали женщину и ее ребенка мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда.

Если поминовение включает в себя также стремление к знанию, то очень важны детали, ибо знание состоит из деталей, и тогда мы не имеем права говорить, что о некоторых деталях мы не хотим слышать, потому что услышав о них, мы уже не сможем спать.

Эпизоду с матерью, бросившей свое полумертвое дитя в лицо обершарфюреру Фоссу, предшествовали выборы, указы и распоряжения, расторопные и менее расторопные исполнители, большинство из которых не имели никакого отношения к концлагерям и никогда никого не убивали. При этом надо осознавать, что по окончании войны далеко не только немцы утверждали, что ни о чем не знали и всего лишь исполняли приказы.

В своей книге «Преследование, уничтожение, литература» литературовед С.Дрезден рисует сцену, о которой он прочитал у К.Цетника (писательский псевдоним Иехиэля Динура). В Освенциме, оттого что крематории уже не справляются, группу живых цыганок с детьми бросают в яму. Один из заключенных, доставленных сюда из Голландии, получает приказ облить людей в яме керосином. Он отказывается, и в результате его самого пинком сапога скидывают в яму, откуда уже вырывается пламя. “Nee! Nee!” - кричал это человек по-голландски, и его крик до сих пор стоит в ушах у писателя», - сообщает Дрезден.

Мою мать привезли в Освенцим осенью 1944 года, вскоре после восстания зондеркоманды, о котором она ничего знать не знала. Она рассказывала, что в Освенциме была счастлива, потому что там у нее появилась надежда, этой надежды она лишилась лишь после освобождения, осознав масштабы трагедии.

Моя мать родилась в Берлине в 1927 году, в 1939 ее семья отправилась на печально знаменитом судне «Сент-Луис» из Гамбурга на Кубу, но Куба закрыла границы, Америка закрыла границы, Канада закрыла границы, и в итоге они смогли высадиться на берег только в Нидерландах.

Мой отец, родившийся в 1912 г. тоже в Берлине, пережил войну благодаря тому, что скрывался по разным конспиративным адресам. Ему часто приходилось выдавать себя за дезертировавшего солдата Вермахта, чтобы раздобыть такой адрес. Он мало рассказывал о том времени, а если и рассказывал, то непреднамеренно, мимоходом. Помнится, однажды обронил, что один из голландцев, скрывавших его, сказал ему после войны: “Если бы мы знали, что ты еврей, мы бы тебя не пустили».

С одной семьей в Роттердаме, у которых отец некоторое время прятался, он продолжал дружить и после войны. Раз в год ездил к ним со мной вместе. У них жили белые мыши в небольшой клетке.

И еще отец общался с продавцом селедки на улице Рокин, рядом с биржей. И хотя мы жили совсем в другой части Амстердама, около реки Амстел, отец ездил на 25-м трамвае покупать у него селедку, потому что помнил его со времен войны, продавец селедки был участником Сопротивления. Иногда я сопровождал отца, и хотя они наверняка отлично были знакомы, разговор между ними касался только селедки и ничего другого.

Такой я знал войну в детстве: белые мыши в клетке, продавец селедки около биржи, счастье в Освенциме.

В то время я и подумать не мог, что через несколько десятков лет, когда я буду писать колонки для одной нидерландской газеты, мне придет по электронной почте целая серия откровенно антисемитских мейлов. В детстве я думал, что это табу непререкаемо. И был наивен.

Но вообще-то логично, что если об определенных группах населения говорят в такой манере, которая наводит на мысли о самом мрачном времени XX века, если это стало привычным, то рано или поздно в такой же манере заговорят и о евреях.

Для меня это было ясно с самого начала: когда говорят о марокканцах, то говорят обо мне.

«Не понимаю, не выношу, когда о человеке судят не по тому, что он собой представляет, а по тому, к какой группе он по воле случая принадлежит,» - писал Примо Лева в шестидесятые годы своему немецкому переводчику.

Эти слова мы должны повторять и повторять каждую неделю, а то и каждый день, хотя бы для того, чтобы напоминать себе, какими токсичными бывают порой слова.

То, что арестанту из Нидерландов отдали приказ полить керосином живых женщин и детей, началось со слов, с речей политиков. Я считаю, что в наше время, в нашем преимущественно светском обществе особая ответственность ложится на членов парламента, на министров, они обязаны подавать хороший пример, чтобы не позволить словам стать токсичными, они обязаны всегда помнить, что государство с одной стороны необходимо, но с другой стороны может обернуться злом и по небрежности, как нечто само собой разумеющееся, способно раздавить отдельных людей, целые группы населения.

Женщина, бросившая своего полумертвого ребенка в лицо обершарфюреру Фоссу, предупреждает нас.

Заклученный, который кричал по-голландски «Nee! Nee!», отказался облить керосином живых женщин с детьми, а потом пинком сапога был сброшен в полыхающую яму, предупреждает нас.

Перевела Ирина Михайлова

Перевод выполнен при поддержке Нидерландского литературного фонда, в рамках международного проекта «С переводами за лучшее общество»